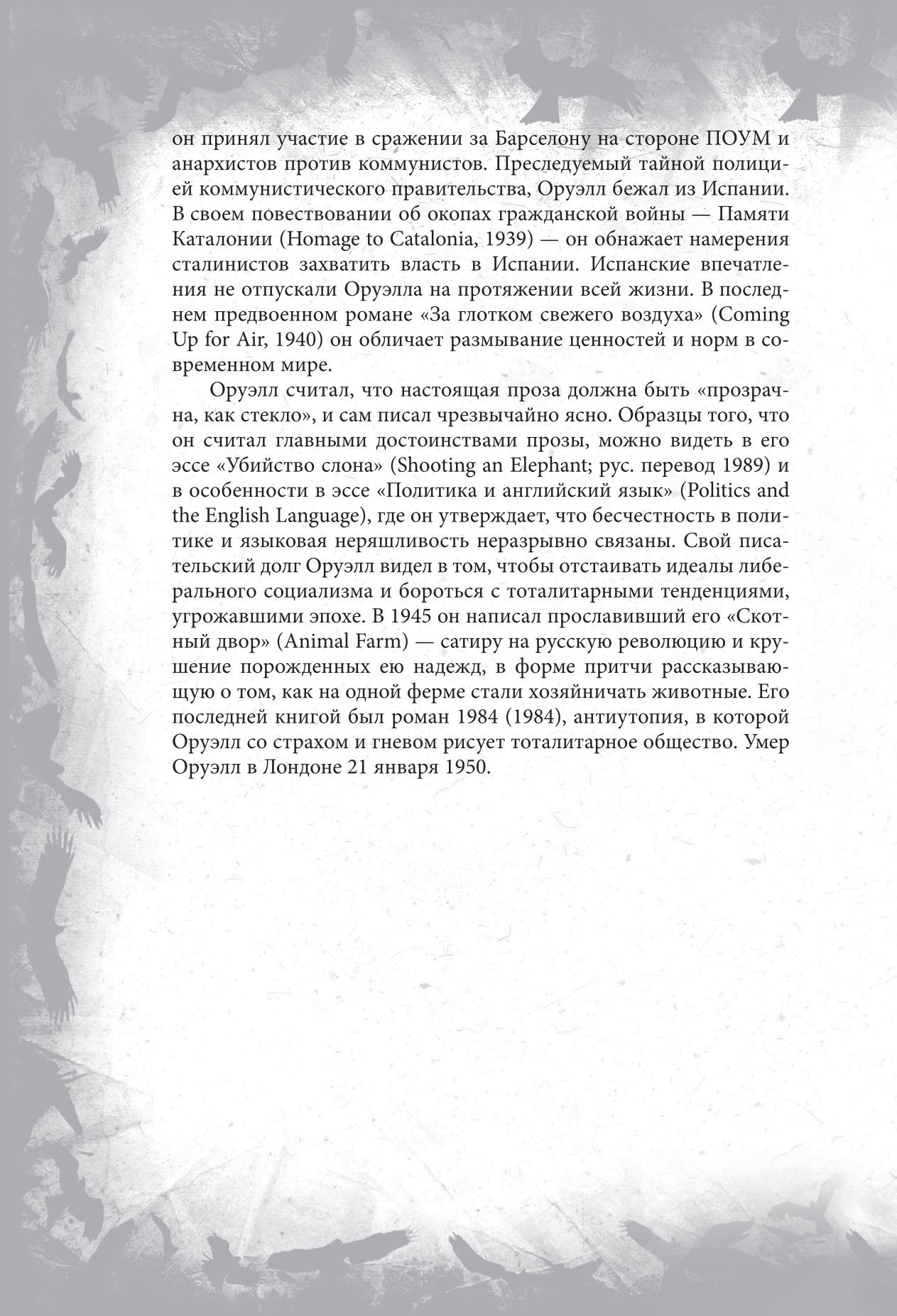


БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Джордж Оруэлл (1903–1950), английский писатель. Оруэлл — псевдоним Эрика Блэйра (Erik Blair) — родился 25 июня 1903, в Матихари (Бенгалия). Его отец, британский колониальный служащий, занимал незначительный пост в индийском таможенном управлении. Оруэлл обучался в школе св. Киприана, в 1917 получил именную стипендию и до 1921 посещал Итонский колледж. В 1922–1927 служил в колониальной полиции в Бирме. В 1927, вернувшись домой в отпуск, решил подать в отставку и заняться писательством.

Ранние — и не только документальные — книги Оруэлла в значительной мере автобиографичны. Побывав судомоем в Париже и сборщиком хмеля в Кенте, побродив по английским селам, Оруэлл получает материал для своей первой книги Собачья жизнь в Париже и Лондоне (*Down and Out in Paris and London*, 1933). Дни в Бирме (*Burmese Days*, 1934) в значительной степени отобразили восточный период его жизни. Подобно автору, герой книги Пусть цветет аспидистра (*Keep the Aspidistra Flying*, 1936) работает помощником букиниста, а героиня романа Дочь священника (*A Clergyman's Daughter*, 1935) преподает в захудалых частных школах. В 1936 Клуб левой книги отправил Оруэлла на север Англии изучить жизнь безработных в рабочих кварталах. Непосредственным результатом этой поездки стала гневная документальная книга Дорога на Уиган-Пирс (*The Road to Wigan Pier*, 1937), где Оруэлл, к неудовольствию своих нанимателей, критиковал английский социализм. Кроме того, в этой поездке он приобрел стойкий интерес к произведениям массовой культуры, что нашло отражение в его ставших классическими эссе Искусство Дональда Макгила (*The Art of Donald McGill*) и Еженедельники для мальчиков (*Boys Weeklies*).

Гражданская война, разразившаяся в Испании, вызвала второй кризис в жизни Оруэлла. Всегда действовавший в соответствии со своими убеждениями, Оруэлл отправился в Испанию как журналист, но сразу по прибытии в Барселону присоединился к партизанскому отряду марксистской рабочей партии ПОУМ, воевал на Арагонском и Теруэльском фронтах, был тяжело ранен. В мае 1937

The background of the page features a detailed illustration of a flock of birds, possibly seagulls or terns, in flight. They are scattered across the entire page, with some appearing in the foreground and others in the distance, creating a sense of movement and depth. The style is somewhat sketchy and artistic, with fine lines and shading. The overall tone is light and airy, complementing the text.

он принял участие в сражении за Барселону на стороне ПОУМ и анархистов против коммунистов. Преследуемый тайной полицией коммунистического правительства, Оруэлл бежал из Испании. В своем повествовании об окопах гражданской войны — Памяти Каталонии (*Homage to Catalonia*, 1939) — он обнажает намерения сталинистов захватить власть в Испании. Испанские впечатления не отпускали Оруэлла на протяжении всей жизни. В последнем предвоенном романе «За глотком свежего воздуха» (*Coming Up for Air*, 1940) он обличает размывание ценностей и норм в современном мире.

Оруэлл считал, что настоящая проза должна быть «прозрачна, как стекло», и сам писал чрезвычайно ясно. Образцы того, что он считал главными достоинствами прозы, можно видеть в его эссе «Убийство слона» (*Shooting an Elephant*; рус. перевод 1989) и в особенности в эссе «Политика и английский язык» (*Politics and the English Language*), где он утверждает, что бесчестность в политике и языковая неряшливость неразрывно связаны. Свой писательский долг Оруэлл видел в том, чтобы отстаивать идеалы либерального социализма и бороться с тоталитарными тенденциями, угрожавшими эпохе. В 1945 он написал прославивший его «Скотный двор» (*Animal Farm*) — сатиру на русскую революцию и крушение порожденных ею надежд, в форме притчи рассказывающую о том, как на одной ферме стали хозяйничать животные. Его последней книгой был роман 1984 (1984), антиутопия, в которой Оруэлл со страхом и гневом рисует тоталитарное общество. Умер Оруэлл в Лондоне 21 января 1950.



1984

Последней книгой Джорджа Оруэлла был роман «1984» (Nineteen Eighty-Four, 1949), антиутопия, в которой Оруэлл со страхом и гневом рисует тоталитарное общество.

На русский язык книгу перевели значительно позже. Первое конспиративное издание появилось в 1960-х, краткие выходные данные не соответствовали действительности. Переводчики не были указаны. В издании отсутствовал «Словаря новояза».

Это конспиративное издание без выходных данных, выпущено специальной конторой под названием «АЛЛ». Организацию курировало ЦРУ. Она существовала в конце 1960-х — середине 1970-х годов и базировалась в Риме. Книги, которые она издавала, выходили или под откровенно фальшивыми выходными данными.

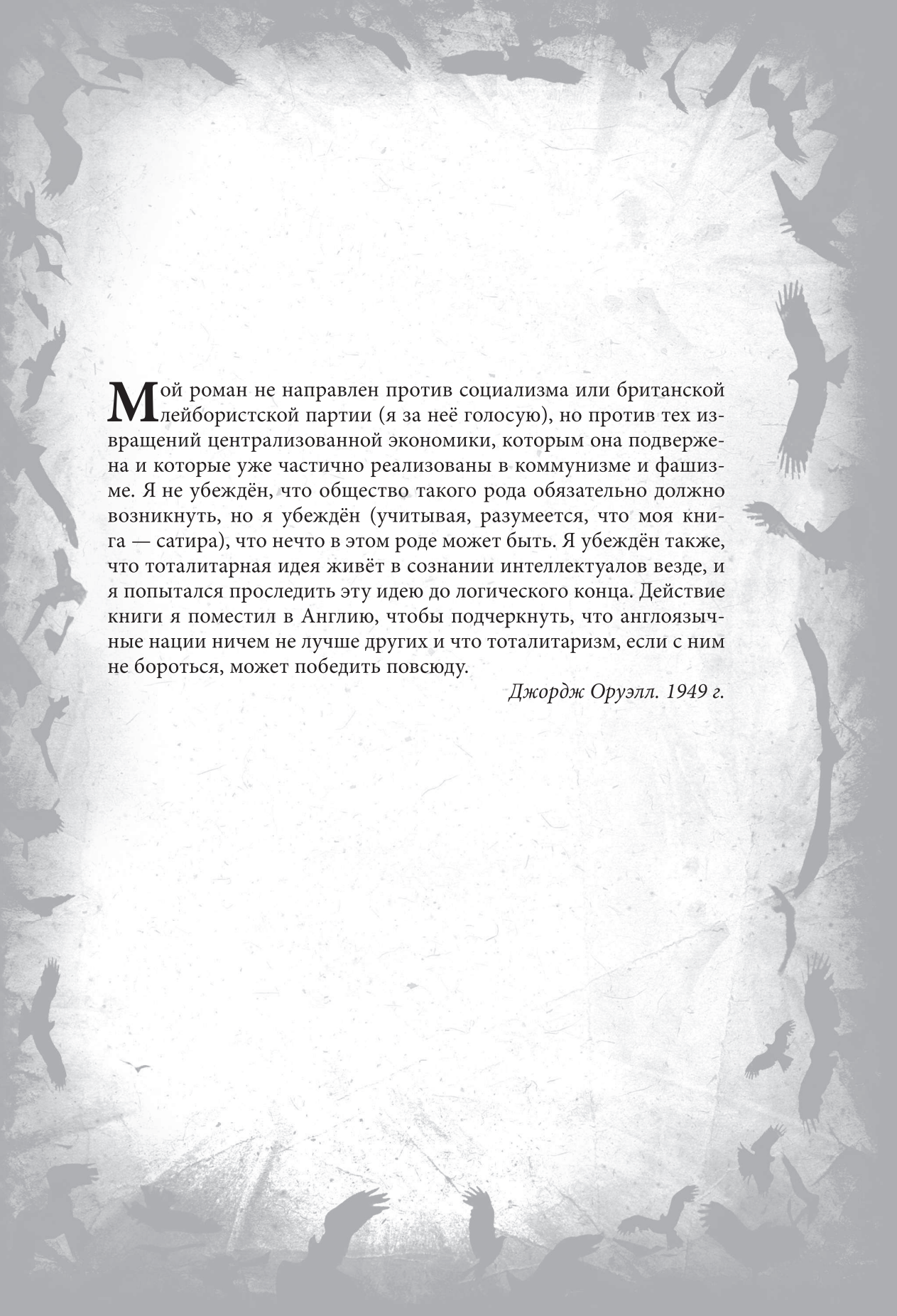
Отпечатано первое издание «1984» было в типографии Lito-stampa Nomentana.

В 1986 году в интервью, приуроченном к 40-летию основания «толстого» литературно-партийного журнала «Грани» и опубликованном в том же журнале, главный литературный энтэсовец Евгений Романов (Островский; 1914—2001) вспоминал:

«На издание “1984” книгой мы получили большую субсидию от вдовы Оруэлла, согласно его предсмертному желанию. Труднейший перевод <...> был сделан безвозмездно ныне покойным <i> профессором Н.Е. Андреевым (Кембридж) и Н.С. Витовым (Монтерей)»¹.

Именно с этого конспиративного перевода началось знакомство русского читателя с творчеством Оруэлла. Именно оно и публикуется в данном издании.

¹ Интервью с основателем журнала Евгением Романовым // Грани (Франкфурт-на-Майне). 1986. № 141. Цит. по: Свободное слово «Посева»: 1945—1995. — М.: Посев, 1995. С. 69.



Мой роман не направлен против социализма или британской лейбористской партии (я за неё голосую), но против тех извращений централизованной экономики, которым она подвержена и которые уже частично реализованы в коммунизме и фашизме. Я не убеждён, что общество такого рода обязательно должно возникнуть, но я убеждён (учитывая, разумеется, что моя книга — сатира), что нечто в этом роде может быть. Я убеждён также, что тоталитарная идея живёт в сознании интеллектуалов везде, и я попытался проследить эту идею до логического конца. Действие книги я поместил в Англию, чтобы подчеркнуть, что англоязычные нации ничем не лучше других и что тоталитаризм, если с ним не бороться, может победить повсюду.

Джордж Оруэлл. 1949 г.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



I



Был ясный холодный апрельский день, и часы пробили тринадцать. Пригнув подбородок к груди, чтобы укрыться от отвратительного ветра, Уинстон Смит быстро проскользнул в стеклянные двери Особняка Победы, не успев, однако, помешать вихрю песчаной пыли ворваться следом.

В коридоре пахло вареной капустой и старыми половиками. В конце коридора висел разноцветный плакат, казавшийся слишком большим для того, чтобы вешивать его в помещении. Он изображал громадное — более метра в ширину — лицо мужчины лет сорока пяти с густыми черными усами и с грубо-красивыми чертами. Уинстон стал взбираться по лестнице. Нечего было и думать о лифте. Даже и в лучшие времена он редко работал, а теперь электрический ток днем вообще не подавался. Это было частью режима экономии, которым отмечалась подготовка к Неделе Ненависти. До квартиры надо было пройти семь пролетов лестницы, и Уинстон, в свои тридцать девять лет и со своей варикозной язвой над правой лодыжкой, поднимался медленно, несколько раз отдыхая по пути. На каждой площадке против шахты лифта пристально смотрело с плаката громадное лицо. Это был один из тех портретов, на которых глаза посажены как-то так ловко, что следуют за вами, куда бы вы ни двинулись. «*Старший Брат охраняет тебя*» — гласила надпись под портретом.

В квартире мелодичный голос читал перечень цифр, имевших какое-то отношение к выплавке чугуна. Голос исходил из металлического овального диска, похожего на тусклое зеркало, вделанное в стену направо от входа. Уинстон повернул выключатель, и голос понизился, хотя слова все еще можно было разобрать. Аппарат (называвшийся телескрином) можно было только притупить, но не выключить совсем. Уинстон подошел к окну. Синий комбинезон члена Партии лишь подчеркивал его невысокий рост, хрупкое телосложение и худобу. У него были очень светлые волосы и лицо сангвиника, кожа его загрубела от скверного мыла, от



Мадрид, пьяный мужчина

тупых бритвенных лезвий и от зимней стужи, которая только что успела кончиться.

Даже сквозь закрытые окна мир снаружи выглядел неприятно-холодным. На улице порывы ветра закручивали в воронки пыль и клочки бумаги, и, хотя сияло солнце и небо было ярко-голубым, все казалось каким-то бесцветным, кроме наклеенных везде плакатов. Лицо с черными усами пристально смотрело с каждого важного перекрестка. Один из плакатов висел на фасаде дома прямо напротив. «*Старший Брат охраняет тебя*» — говорила надпись, в то время, как темные глаза глубоко смотрели на Уинстона. Ниже, на уровне улицы, другой плакат с порванным углом судорожно полоскался на ветру, то открывая, то закрывая единственное написанное на нем слово: АНГСОЦ. Вдали, между крышами, плавно скользнул вниз вертолет, повис на мгновение в воздухе, словно синяя мясная муха, и опять устремился дальше в кривом полете. Это полицейский патруль подглядывал в чужие окна. Но патрули — это пустяк. Иное дело — Полиция Мысли...

За спиной Уинстона телескрин все еще что-то бормотал насчет производства чугуна и перевыполнения плана Девятой Трехлетки. Телескрин соединял в себе приемник и передатчик. Он улавливал любой звук, едва превышавший самый осторожный шопот; больше того, — пока Уинстон находился в поле зрения металлического диска, его могли так же хорошо видеть, как и слышать. Нельзя было, конечно, знать, следят за вами в данную минуту или нет. Можно было только строить разные догадки насчет того, насколько часто и какую сеть индивидуальных аппаратов включает Полиция Мысли. Возможно даже, что за каждым наблюдали постоянно. И во всяком случае, ваш аппарат мог быть включен когда угодно. Приходилось жить, и, по привычке, превратившейся в инстинкт, люди жили, предполагая, что каждый производимый ими звук — подслушивается, и любое их движение, если его не скрывает темнота, — пристально наблюдается.

Уинстон стоял спиной к телескрину. Так было безопаснее, хотя, как он отлично знал, даже и спина могла вас выдать. На расстоянии километра высилось над окружающим тусклым ландшафтом громадное белое здание Министерства Правды — место его работы. Это Лондон, — думал Уинстон со смутным отвращением, — Лондон, главный город Первой Посадочной Полосы, которая сама является третьей по числу жителей областью Океании. Он старался выдать из памяти хоть несколько воспоминаний, которые могли бы подсказать ему, всегда ли Лондон был таким,

каков он сейчас. Всегда ли были эти нескончаемые вереницы неопрятных домов девятнадцатого века, подпертые балками по сторонам, с залатанными картоном окнами, с крышами из гофрированного железа и с этими дурацкими садовыми оградами, покосившимися во все стороны? А разрушенные бомбами кварталы, где кружится в воздухе известка, и ивняк вьется по грудам развалин? А громадные, оставшиеся от бомбардировок пустыри, на которых выросли грязные колонии деревянных лачуг, похожих на курятники? Но, увы, — он не мог припомнить ничего: от детства сохранилось лишь несколько ярко освещенных картин, возникавших безо всякого фона и в большинстве случаев непонятных.

Министерство Правды — Минправ на Новоречи¹ — поразительно отличалось от всего, что открывалось в этот миг взору Уинстона. Это было грандиозное пирамидальное строение из сверкающего белого бетона, терраса за террасой устремлявшееся ввысь на триста метров. Оттуда, где стоял Уинстон, можно было прочитать три лозунга Партии, высеченные изящными буквами на белом фоне здания:

ВОЙНА — ЭТО МИР
СВОБОДА — ЭТО РАБСТВО
НЕВЕЖЕСТВО — ЭТО СИЛА

Рассказывали, что Министерство Правды насчитывает три тысячи комнат над землей и столько же под нею. В разных концах Лондона имелось лишь еще три здания такого же вида и размера. Они так подавляли окружающие их строения, что с крыши Особняка Победы можно было видеть все четыре одновременно. Это были здания четырех министерств, между которыми делился весь аппарат государственного управления: Министерство Правды, занимавшееся информацией, увеселениями, образованием и изящными искусствами; Министерство Мира, ведавшее делами войны; Министерство Любви, охранявшее порядок и законы и Министерство Изобилия, ответственное за экономические дела. На Новоречи они назывались: Минправ, Минмир, Минлюб и Минизобилие.

Самым устрашающим из всех было Министерство Любви. В здании, которое оно занимало, не было ни одного окна. Уинстон не только не бывал ни разу в этом Министерстве, но и никогда не

¹ Новоречь — официальный язык Океании. — *Прим. авт.*

подходил к нему на расстояние меньше полукилометра. Туда вообще можно было войти только по служебному делу, и тот, кто шел по делу, попадал в здание сквозь лабиринт колючей проволоки, через стальные двери, мимо скрытых пулеметных гнезд. Даже по улицам, ведущим к его внешним укреплениям, бродили охранники с мордами горилл, одетые в черную форму и вооруженные дубинками.

Уинстон круто повернулся. Он придал своим чертам выражение спокойного оптимизма, которое рекомендовалось принимать, обращаясь лицом к телескрину. Затем он направился в крохотную кухню. Уйдя в это время дня из Министерства, он лишился обеда в буфете, хотя и знал отлично, что дома ничего нет, кроме куска черного хлеба, который следовало сохранить на завтрак. Он взял с полки бутылку бесцветной жидкости с простой белой этикеткой, на которой значилось: «Джин Победа». От жидкости тошнотворно отдавало сивухой, как от рисовой китайской водки. Уинстон налил почти полную чашку и, набравшись мужества, одним духом выпил, словно порцию лекарства.

Его лицо мгновенно побагровело, и из глаз покатались слезы. Жидкость походила вкусом на азотную кислоту, и человек, глотнувший ее, чувствовал себя так, будто его стукнули резиновой дубинкой по затылку. Однако, в следующую минуту жжение в желудке прекратилось, и мир повеселел. Из памяти пачки с надписью — «Сигареты Победа» — Уинстон вынул папиросу и неосторожно повернул ее концом вниз, отчего табак тотчас же высыпался на пол. Со второй ему повезло больше. Он вернулся в гостиную и уселся за маленький столик, налево от телескрин. Затем он вытащил из ящика ручку, бутылку чернил и объемистую тетрадь с красным корешком и обложкой под мрамор.

В этой комнате телескрин занимал почему-то необычное положение. Вместо того, чтобы висеть, как полагалось, против двери, откуда была видна вся комната, он был вделан в длинную стену против окон. В той же стене, сбоку от телескрин, имелась неглубокая ниша, где сейчас сидел Уинстон и где, по мысли строителей дома, должны были, по-видимому, находиться книжные полки. Сидя в этой нише и откинувшись как можно дальше назад, Уинстон был незрим для телескрин. Пока он оставался в положении, какое занимал теперь, его могли лишь слышать, но не видеть. Эта необычная «география» комнаты отчасти и подсказала ему мысль — заняться тем, что он сейчас собрался делать.

Впрочем, к этому же побуждала его и тетрадь, которую он только что достал из ящика. На редкость красивая тетрадь! Такой гладкой кремовой бумаги, хотя и успевшей слегка пожелтеть от времени, не делали по крайней мере уже сорок лет. Уинстон мог предполагать, однако, что этой тетрадке даже больше сорока лет. Он увидел ее в окне грязной лавки старьевщика где-то в городских трущобах (квартала он теперь уже не помнил), и его сразу охватило страстное желание приобрести ее. Членам Партии не разрешалось заходить в обычные магазины («имеющие дело со свободным рынком», как их называли), но это правило не слишком строго соблюдалось, потому что некоторых вещей, вроде шнурков для ботинок или лезвий для бритв, нельзя было достать иным путем. Он окинул быстрым взглядом улицу и, проскользнув в лавку, купил тетрадь за два доллара пятьдесят. В то время он не думал, что она понадобится ему для какой-нибудь определенной цели. Чувствуя себя виновным, он принес ее домой в портфеле. Даже не имея на своих страницах ни одной пометки, она была компрометирующей собственностью.

Теперь он собирался начать дневник. Это не было запрещено законом (ничто не запрещалось с того времени, как были упразднены законы), но если бы его уличили, ему пришлось бы, вероятно, поплатиться жизнью или, в лучшем случае, двадцатью пятью годами концентрационных лагерей. Уинстон вставил перо в ручку и пососал его, чтобы снять масло. Перо тоже было устаревшей вещью, которая редко употреблялась даже и для подписи, и он раздобыл его украдкой и не без труда, просто потому, что чувствовал, что красивая кремовая бумага заслуживает того, чтобы на ней писали настоящим пером, а не царапали ее химическим карандашом. Вообще, он не привык писать от руки. За исключением самых небольших заметок, обычно все записывалось диктографом, но для настоящей цели он, разумеется, не подходил. Уинстон обмакнул перо и на мгновение в нерешимости остановился. По его телу пробежала дрожь. Сделать первую пометку на бумаге — значит сделать решающий шаг. Мелкими и неуклюжими буквами он вывел:

4-е апреля, 1984.

Он откинулся назад. Чувство полной беспомощности овладело им. Прежде всего, он не мог сказать определенно, что сейчас идет 1984-ый год. Возможно так и есть: он был более или менее уверен, что ему 39 лет и что он родился в 1944-ом или 1945-ом го-

ду, но вообще в теперешние времена нельзя установить какую-либо дату, не рискуя ошибиться на год или на два.

Вдруг он с удивлением подумал — для кого, собственно, собирается вести этот дневник? Для будущего? Для неродившихся? Его мысль с минуту покружилась над сомнительной датой, которую он написал, а затем уперлась в слово Новоречи — *двоемыслие*. Впервые перед ним предстала вся необъятность его замысла. Как можно установить связь с будущим? По самой природе будущего это невозможно. Если оно станет походить на настоящее, — оно не пожелает его слушать; если же между ним и настоящим будет какая-нибудь разница, — его затея потеряет смысл.

Некоторое время он сидел, тупо глядя на бумагу. Телескрин начал передавать какую-то скрипучую военную музыку. Странно, что он не только потерял способность выразить себя, но даже забыл, что именно хотел сказать вначале. Неделями он готовился к этой минуте, и ему ни разу не пришла в голову мысль, что понадобится еще что-то, кроме смелости. Ведь самый процесс писания будет нетруден. Все, что он должен сделать — это занести на бумагу томительно долгий беспокойный монолог, пробежавший в его сознании буквально годы. Но сейчас и он вдруг оборвался. Вдобавок его варикозная язва начала невыносимо зудеть. Он не решался почесать ее, чтобы она не воспалилась. Секунды бежали. Он не ощущал ничего, кроме белизны лежавшей перед ним бумаги, зуда кожи над лодыжкой, грома музыки и легкого опьянения, вызванного джином.

Вдруг, в какой-то полной панике, он начал писать, едва сознавая то, что заносит на бумагу. Опуская сначала прописные буквы, а затем даже и точки, он писал мелким, но детским почерком, который расплзался по странице вверх и вниз:

4-е апреля, 1984. Вчера вечером в кино. Все фильмы военные. Один очень хороший об одном пароходе полном беженцев, который бомбят где-то в Средиземном. Публика потешалась над кадрами, изображавшими огромного толстого человека, который старался уплыть от вертолета, сначала вы видели как он словно дельфин барахтался в воде, потом его показывали с вертолета через прицел пулемета, потом его всего изрешетили и море вокруг стало розовым и он пошел ко дну так быстро словно все дыры наполнились водой, публика надрылась со смеху когда он тонул, затем показывали полную детей спасательную шлюпку и повисший над нею вертолет, на носу сидела женщина средних лет кажется еврейка и

держала на руках мальчика лет трех, мальчик пронзительно кричал от страха и прятал голову у нее между грудей словно хотел зарыться в ней а она все обнимала его и успокаивала хотя сама поси- нела от ужаса, все время закрывала и закрывала его сколько могла как будто ее руки могли защитить его от пуль, потом геликоп- тер бросил бомбу в 20 килограмм, лодка вспыхнула и разлетелась в щепки, тут были восхитительные кадры — рука ребенка которая поднималась все выше, выше и выше геликоптер с камерой на носу должно быть следовал за нею и на местах для членов партии силь- но захлопали но какая-то женщина внизу на пролетарских местах вдруг принялась шуметь и закричала чтобы этого не показывали ребятам они не показывали это неправильно не для ребят это не- правильно пока полиция не вышвырнула ее вон Я полагаю с нею не случилось ничего никто не считается с тем что говорят пролы обычная пролетарская реакция они никогда не...

Уинстон остановился отчасти потому, что его свела судорога. Он не понимал, что заставило его излить этот поток чепухи. Но любопытно, что пока он ею занимался, в его уме пробудилось вос- поминание иного рода и притом настолько ясное, что он чувство- вал себя почти способным записать его. Он сознавал теперь, что его внезапное решение пойти домой и сегодня же начать дневник было вызвано совсем другим событием.

— Это случилось, — если о такой туманной вещи вообще можно сказать, что она «случилась», — утром в Министерстве.

Было около одиннадцати ноль-ноль, и служащие Отдела До- кументации, где работал Уинстон, занимались тем, что перетаски- вали стулья из кабинок в зал и расставляли их посередине, против большого телескрин, готовясь к Двум Ми- нутам Ненависти. Уин- стон как раз сидел на своем месте в одном из средних рядов, когда в комнату неожиданно вошли два человека, которых он знал толь- ко в лицо. Одним из них была девушка, с которой он часто встре- чался в коридорах. Он не знал, как ее звать, но ему было известно, что она работает в Отделе Беллетристики. Судя по тому, что он ви- дел ее иногда с замасленными руками и с гаечным ключом, мож- но было думать, что она занимается какой-то технической рабо- той на автоматическом писателе. Это была девушка лет двадцати семи, смелого вида, с густыми черными волосами, с веснушчатым лицом и с быстрыми движениями спортсменки. Ее комбинезон был перехвачен узким алым кушаком, — эмблемой Антиполовой Лиги Молодежи, — обвитым несколько раз вокруг талии так, что-

бы подчеркнуть красивую форму ее бедер. Уинстон невзлюбил ее с первого взгляда. И он знал, почему. Потому, что ее окружала атмосфера хоккейного поля и холодного купанья, массовых экскурсий и нравственной чистоты вообще. Он не любил почти всех женщин и, в особенности, молодых и привлекательных. Женщины, и прежде всего молодые, были самыми нетерпимыми, самыми падкими на лозунги, сторонницами Партии, шпионками-любительницами и ищейками, всюду вынюхивавшими уклоны. Эта же девушка казалась ему даже более опасной, чем большинство других. Однажды, встретившись с ним в коридоре, она быстро покосилась на него таким взглядом, который, казалось, пронзил его насквозь и на минуту преисполнил темным ужасом. Он даже подумал, что она может оказаться агентом Полиции Мысли. Но это было маловероятно. Тем не менее, он продолжал испытывать странную тревогу, смешанную со страхом, и вместе с тем враждебность всякий раз, когда видел ее где-нибудь возле себя.

Другим человеком был некто О'Брайен, член Внутренней Партии, занимавший такой важный и высокий пост, что Уинстон имел о нем лишь смутное понятие. В зале моментально воцарилась тишина, как только люди заметили приближающийся к ним черный комбинезон члена Внутренней Партии. О'Брайен был большим и грузным человеком с толстой шеей, с грубым и жестоким, но вместе с тем, комическим лицом. Несмотря на грозную наружность, в его манерах чувствовалось известное обаяние. У него была занятая и обезоруживающая привычка каким-то непередаваемым, но по-своему культурным жестом поправлять «очки на носу. Этот жест напоминал (если только кто-нибудь все еще мыслил подобными понятиями) дворянина восемнадцатого века, предлагающего табакерку. Уинстон встречал О'Брайена быть может раз двенадцать за столько же лет. Он испытывал глубокое влечение к этому человеку и не только потому, что его занимал контраст между изысканными манерами О'Брайена и его боксерской наружностью. Главным образом, это влечение проистекало из тайного убеждения или даже просто из надежды, что политическая правота О'Брайена неоспорима. Что-то в его лице несомненно подсказывало эту мысль. Но, с другой стороны, то, что выражалось на лице О'Брайена, возможно даже не было отступничеством, а просто интеллектом. Во всяком случае, он производил впечатление человека, с которым можно было бы поговорить, если бы удалось как-нибудь обмануть телескрин и остаться с ним с глазу на глаз. Уинстон никогда не делал ни малейшей попытки проверить